

ПЕРИПЛ ВНУТРЕННЕГО МОРЯ

На вопрос *что делать* привычно отвечаешь: *вареньем, чай* и только потом задумываешься: какой, собственно, такой чай, о чём речь-то? Чай *Цветок Корицы*, ожидаешь, что он пахнет корицей хотя бы в смысле напоминания, воспоминания, что ли, а нет.

Ничем не пахнет. Зима. Замёрзшее море, аральская темнота. Стрекозы, опускающиеся на лёд.

Это к истории А. и И. *Гору Мориа знать надо уже хотя бы потому, что на ней находится мечеть Куббат ас-Сахра*. Поленница была сложена из сырых дров, прямо скажем, из мокрых, вообще шёл снег, нет, не так, снег валил, это был настоящий снегопад, без проблесков, как в детстве. Огни, надо думать, с такого расстояния были уже не видны, чёрта разве что углядишь в такое время, ближневосточная ночь, как у Ходасевича могла бы. Давид потом выкупит это место за 12 шекелей, от нас глядя – примерно как Манхэттен за бутылку, устроит жертвенник *среди многочисленных кустиков шалфея*.

*

Зима, варенье, снова зима. Пенки, дымок, медь. Крыжовник, сад, в который страшно выйти ночью, сад, где только тени деревьев и бормочущие кроны ольхи, лес, обступающий меня со всех сторон, медленно просыпающееся сердце, – здравствуй, ну здравствуй, доброе утро что ли, – как спалось тебе, кто приходил во сне, брал ли в ладони, целовал ли опустевшим ртом, клал ли ладонь на лоб, поил ли водой? Нет, наверное.

Там всё ещё идёт снег, всё ещё они взбираются на холм, из-под снега торчат засохшие, замороженные кустики шалфея. А это только колышущаяся трава – не трава, пестрая шерсть, суставчатые крылья, прозрачный шум.

Я бы трогал тебя за пальцы, отпускал бы как воздушный шарик, вдыхал твой запах. Рассказывал бы тебе про А. И. И. А так я кашляю от сигарет, обжигаюсь плохим коньяком, смотрю за окно. Огонь делает нас похожими, – серыми, черными, красными и пустыми, пустующими, несущественными, облегченными вариантами наших неблизких. На просвет ветвей, по краям ручьев и небольших рек, почти безмянных и ледяных даже посреди июля, туда где огонь разговаривает, а вода молчит, прислушивается внимательно.

Я бы трогал тебя за пальцы и теребил бы. Пока оно тикает на демаркационной линии между тем и этим. Что сказать? Что я очень давно тебя не видел.

*

Предлежащее, подлежащее. Метель. Ну, ещё трудно говорить. Мы проходим тут просто так, слева витрина «Кофе-Хауза», справа чёрная почему-то «Субару» выворачивает, пытаюсь деться куда-нибудь из пробки, которая до самого «Аэропорта». Потом Давид выкупит это место за 120 рублей, потом тут принесут жертву – какую-то, предположительно, не очень большую, купят, например, сумочку в «Артиколи», изрежут на лоскуты, а лоскуты сожгут. Ветер отнесёт кверху черный дым кожи жертвенного животного, – ну, туда, откуда метель, снег прекратится, потому что городские службы измаялись уже, хочется домой, а всеожжения не благоволиши, глупости – так они и идут, пыхтя толкают перед собой снег – металлической плоской штукой, напоминающей скребок, идут, идут по двое, по трое, когда мужчины уже сидят по домам, играют с детьми, обнимают жён.

*

Подлежащее, сказуемое, назавтра дети идут в школу, а с четырёх утра уже нападало по колену, общественный транспорт дремлет в своём моторизованном парке и всё-таки надо было сжечь не одну, десять или пятнадцать сумочек а ещё, может быть, два-три десятка левых перчаток и ремень, только проследить, чтобы это не была кожа нечистых животных, а возможно, заячья или беличья, беззащитная, тонкая, по возможности .

Сказуемое, дополнение. Дополнение: заводские корпуса в Мишкольце, гданьская судоверфь. Электровозостроительный завод в Новочеркасске. К чему это здесь? Дети сидели на деревьях, чуть выше горизонта зрения.

Обстоятельство: Плиев. Случайные. Не подлежащие. Конечно, забытые.

На вопрос *что делать* привычно отвечаешь: *делай что хочешь, только оставь меня в покое*. Плывут, так они и плывут по водяной реке, а потом ещё немного по снежной жиже, а потом наверху плывут, над нами, но это совсем недолго, просто чтобы никто не думал плохого.

Меня спрашивают: *что делать?* А я не знаю, что ответить. Старые ответы пришли в негодность или делись куда-то, а на новые у меня не хватает денег и времени. *He not busy being born is busy dying*. Правительство Виши было законным, а легитимность Пятой Республики имеет своим источником Соппротивление, поддержанное меньшинством населения Франции и вообще не сыгравшим в Европе, за исключением, возможно, Балкан, большой роли. Вместо того, чтобы писать предисловие. Дополнение: *Salvia Divinorum*. Что у нас общего с теми, кто не любит латинских названий? А понимать – мы не понимаем и русских.

*

Давно не видел тебя, много думал о тебе, говорил с тобой. Давно, и раньше, чем давно. Но позже, чем очень давно. 23 июля 1882 года. Сын Йеши, царь царей, король королей, лев от колена Иудина. Присоединение к Лиге Наций и десять тысяч фунтов стерлингов помощи СССР. Я пишу тебе это отсюда, где январский вечер, ни Лиги Наций уже нет, ни даже СССР, ни Йеши, ни отца, все мертвы, - все, кроме нас, действующих лиц совершенно другого рассказа, который только начался.

Ехали в метро, а там две девочки примерно шестнадцати лет, прикладывают свои мобильные телефоны, каждая держит свой, очень нежно держат, один чуть короче, я говорю, – смотри, редкий случай, девочки хуями меряются. Зачем происходят такие вещи, зачем их видеть, если рас Макконен умер, а итальянские войска вошли в столицу, вошли всё равно, – грязный южный город, почти развалины по нынешним меркам, я всё время думаю о том, зачем я это знаю, если есть столько вещей важнее – всё равно важнее, – я часто думаю о том, какое это имеет значение, если рас Макконен мёртв. И рас Тафари Макконен мёртв. И Ицхак, которого, вроде бы, пожалели – даже он.

*

Они все еще танцевали, когда перед самым рассветом 19 октября 1930 года "Azay le Rideau" вошла в джибутийскую гавань. Они танцевали, когда снег падал крупными хлопьями. Они танцевали когда всё было другим, не таким как сейчас, а мы смотрели на них и думали: «Всё будет не таким, как сейчас, – совсем скоро».

Они танцевали, – пока дети шли в школу. И когда старуха у метро «Сходненская»

прилаживала табличку *Помогите, умерли сын с дочерью, нечем кормить внуков*, – они танцевали. Капитан, штурман, матрос, кто дежурит на мостике, – вахтенный? Пока шёл снег. Пока ветер нёсся над водой, пока время росло, училось ходить.

*

О зиме, об о Н-ске, о коронации, у тебя всегда выходит об одном и том же. Ты думаешь опять о детях, о том, что идёт снег, а дрова сырые, поленница сложена кое-как и не прикрыта, к тому же, как положено, рубероидом или чем. А зима, ну да, зима в этом году влажная, всё время плюс один и неблагоприятный прогноз, ветер гонит с Атлантики не холод, а одну только воду, иногда со льдом, иногда с тоской вроде клюквенного киселя из брикетов, иногда с чьими-то слезами, иногда с бетелем, перемолотым чьими-то челюстями, текущим в здешнюю снежную кашу, красным вроде юшки из разбитого ебала, а иногда вроде вишневого компота из холодильника, – ломит зубы, – никаких холодов сегодня, одна тоска, Муссолини, 12 шекелей, новости, потом новости спорта и наконец. Будет легко.

Про А. и И., – началось с того, что она вспомнила про эту историю, а я стал рассказывать ей про Императора, про Плиева, про Йешу и про шёлк, бархат, парчу, сердолик и смарагд, а известно, что *кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и скорпионы*, которых так много в Аксуме, которые подползали к порогу нашего дома и просили молока, творога, воды и печенья, обещали не жалить наших детей, не приходить никогда больше. И я дал им воды, и печенья тоже дал, и молока, а творогом вымазал губы чёрной статуе Христа возле местного почтового отделения, помнишь, да, – там служил, португалец, ещё из тех. Она пыталась говорить с ним по-португальски, но пять поколений не шутка, он уже не помнил ни слова, только говорил *neve* и *filho* и, понятно, *carta*, а остальное молчал. Но его звали Абель. Абель, да.

*

Ничего не сходится на этом худом, вроде бы, очень маленького роста человеке в мундире, – совершенно, надо сказать, нелепом, как все мундиры тех времён, – как бы и желающем продемонстрировать некоторую значимость, но подчёркивающим, на самом деле, только несоответствие статей обладателя и предполагаемых заслуг перед отечеством, – всё равно каким.

В источнике у них что-то неизвестное, не определяемое, никак не назвать. Лёгкая вода – *такая лёгкая, что ничего не может плавать в ней – ни дерево, ни даже ещё более лёгкое вещество, чем дерево*, всё идёт ко дну. Другое дело, что теперь уже источник стал просто фонтаном на городской площади, эта как бы вода льётся из кувшина бронзовой дородной селянки: в засуху он бесполезен. Местные говорят, не в засухе дело, а просто его выключают на лето. И никак не проверить, плавает что-нибудь в этой воде, которая, и правда, лёгкая – как полное ведро хлопковых коробочек набрал, а не воды – или тонет даже тот кораблик из сосновой коры, который отец сделал, когда тебе было пять лет. Потому что любой сосуд оказывается сосудом скудельным, – причём очень как-то быстро, решетом, ситом, дюралевым дуршлагом. Потому, в основном, они не пьют воды, а питаются молоком и мясом, иногда добавляя в молоко настой шалфея, чтобы было плотнее, не проходило сквозь мелкую сеть ловчую.

*

Что на дне? На дне тебя ждёт ребёнок, один из тех детей, нет, живой, потому что это не дно реки, озера или моря, а даже не знаю, времени, что ли, хотя плохое какое слово. Ну, скажем, пусть это будет дно какой-то небольшой части твоей жизни, хотя бы и одного дня, даже и не

зимнего, а просто дня. И это не твой, конечно, ребёнок, а сам по себе мальчик – без рогатки, даже без ссадин на коленках, очень тихий, но помнящий все запахи, даже как пахнет медная монетка, если долго её сжимать в кулаке; и не только запахи, а ещё знающий, какое оно всё на вкус – водопроводная вода, целлулоид или что там фотоплёнки «Свема», только что очищенный жёлтый карандаш «Кохинор». Ничего не знающий о вкусе несъедобных вещей, возникших в мире после того, как ему исполнилось, скажем, четыре, – но помнящий, такое долгое это дело, вкус и запах, – и как тает на языке крупная снежинка, медленно упавшая с неба над этим несчастливым холмом, – ветер подобрал её, принёс сюда бог знает откуда, чтобы она опустилась на язык мне, стоящему посреди школьного двора примерно лет двадцать назад. Сколько же у тебя времени, Господи, – пишу я в эту минуту, – сколько же у Тебя времени Твоего.

Окна в спортивном зале гаснут мгновенно, В.Е. щёлкнул тумблером, утопанное поле перед трёхэтажным белым зданием (буквой «Н») гаснет, ближняя девятиэтажка светится, наоборот, как Тверская в восемь пополудни, января, года. Самое время, мужчины сидят по домам, играют с детьми, обнимают жён. Телевизор смотрят.

И нам пора домой. Домой вечером Твоего времени, а то мы пришли на запад солнца, а там закрыто. Негде, в смысле, пожить. Как будто мало нам, что некогда. Мы пойдём, наверное, – домой пойдём, пора нам, нас там ждут, беспокоятся.

*

Птица взлетает с бумаги, как раньше её сородичи вылетали из мясного пирога, – не то, чтобы большая изобретательность была проявлена, но священник всё равно сильно удивился, не всякий раз это случается на собственных человеческих глазах. Старшеклассник Негус Негаст, лев из колена Иудина, пришедший разделить с вами трапезу солнца – мясо, которое рождает земля, что бы там кто ни думал по этому поводу, что бы растение шалфея ни говорило. Мне было пять, ему шесть, мы скакали на игрушечных лошадках, на палочках, собственно, просто представляли себе, что это лошадки.

Ничего не помогает, знаешь, ничего, даже это не помогает. И жалеть, вроде как, не о чем. Вцеплялись в траву, тянули на себя, лезли вверх, ползли к Западу, – и как-то понемногу оно всё двигалось, рывками, нехотя и очень медленно, – а потом оказалось, что там не дождь, не вода, как мы надеялись, а огонь.

*

— Ну вот и хватит с нас – он говорит, мальчик слушает, – пожалуй, действительно хватит с нас и этой части года и квадратиков календаря, которые мы перемешиваем, выхватывая то один, то другой и смотрим на выхваченное теми единственными глазами, что у нас есть, не узнавая. Кажется, мы говорили о зиме. Всё путается. Ни одно слово не повторяется.

Дни из чистого марганца, пасмурные дни, врата медные, времена железные, львы Сиона, наизготовку. Олово и свинец. Висмут, сурьма для бровей, галлиевая вода, трудный воздух, двенадцать шекелей, Лига Наций.

... Когда итальянцы входили в город, в нём почти всё было как обычно – ну, как всегда в южных городах, – солнце, очень много пыли, грязно, камни, нагретые солнцем, скисшее молоко, тупые местные жители, которые никакого языка не знают, кроме своего. Сколько-то крови, сколько-то отсутствия воды, сколько-то запаха нагретого металла, – точно такого запаха, как если во второй половине

июля полдня держать монетку в кулаке, – входили в город, – невозможно было представить, что он кому-то родной, что кто-то провёл здесь первые десять или даже двадцать лет своей жизни.

Плиев и ветви деревьев, которых здесь почти нет. Есть, но так мало. Я понимаю, тебе некуда торопиться. Тут только твоё время. Везде. Время – единственное, что принадлежит только тебе, прости за строчные буквы.

А остальное – наше. Металлические львы Кинерета, марганцевые львы Лалибелы, свинцовые львы Аксума, оловянные львы Ленинграда, дюралевые львы Лос-Анджелеса, беснежные львы Иерусалима, водяные львы московского зоопарка, сухопарые львы Панджшера, разные другие львы. Из колена Иудина и из разных других колен, растерянных, плохо соображающих, снег потому что отовсюду, крупными хлопьями.

И вот он ложится на спину, рёбра бывших деревьев, шрамы от бывших ветвей. Сыро, темно, январь, замёрзшая вода. И вот он говорит: ну давай, чего, мы же за этим сюда и шли, давай, хватит уже, как я устал бояться, если бы ты знал. Если бы ты подумал о ком-нибудь кроме себя, хоть раз.

А тот сидит рядом и вытирает грязным рукавом слёзы, плачет, никак не может остановиться, размазывает сопли по чумазому крестьянскому лицу.

*

Все львы похожи друг на друга, все львы спят подолгу, все львы видят во сне мясо и молоко, которые родит земля. Все львы ненавидят варенье, и ты, и ты, лев из колена Иудина, железный лев Сиона, творожный лев Лалибелы, – и ты его ненавидишь, нечего тебе будет делать февральским утром, январским вечером, полднем короткого декабря. Ведёшь пальцем по карте: перипл внутреннего моря, беснежная земля, гора Мориа, Москва, Западный округ, Западный фронт.

Варенье, ну да, варенье, из ягод медных, ягод железных, Аксум, Кинерет, снег толпится в тёмном воздухе. Московский сизарь курлыкает по-арамейски, прижимаясь к голубке. Ночной карандаш картографа ползёт по бумаге, вычерчивая контуры моря.

Чайник на плите выкрикивает в пустоту свои позывные, были бы у него связки, давно бы превратились в лохмотья, – двадцать четыре точки, двадцать одно тире, земля, земля, я воздух, воздух вызывает – уезжайте на юг, разводите костры, объявляйте войну, одевайтесь теплее. Море схватывается, фронт прорван, начинаются холода.

9 май 05